

Содержание

Город Градов	5
Епифанские шлюзы	42
Ямская слобода	79
Впрок	133
Счастливая Москва	211
Фро	322
Такыр	348
Возвращение	372
Одухотворенные люди	400
Неодушевленный враг	440
Афродита	452

Город Градов

Мое сочинение скучно и терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано.

*Ив. Шаронов,
писатель конца XIX века*

1

От татарских князей и мурз, в летописях прозванных мордовскими князьями, произошло столбовое градовское дворянство, — все эти князья Енгальчевы, Тенишевы и Кугушевы, которых до сих пор помнит градовское крестьянство.

Градов от Москвы лежит в пятистах верстах, но революция шла сюда пешим шагом. Древлевогочинная Градовская губерния долго не сдавалась ей: лишь в марте 1918 года установилась советская власть в губгороде, а в уездах — к концу осени.

Оно и понятно: в редких пунктах Российской империи было столько черносотенцев, как в Градове. Одних мощей Градов имел трое: Евфимий — ветхопещерник, Петр — женоненавистник и Прохор — византиец; кроме того, здесь находились четыре целебных колодца с соленой водой и две лежащие старушки-прорицательницы, живьем легшие в удобные гробы и кормившиеся там одной сметаной. В голодные годы эти старушки вылезли из

гробов и стали мешочницами, а что они святые — все позабыли, до того суетливо жилось тогда.

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.

Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе первой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока.

Вокруг города жили слободы: исконные градовцы называли слобожан нахальщиками, ибо слобожане бросали пахотное дело и стремились стать служилыми-чиновниками, а в междуцарствие свое — пока им должностей не выходило — занимались чинкой сапог, смолокурством, перепродажей ржаного зерна и прочим незнатным занятием. Но в том была подоплека всей жизни Градова: слобожане наседали и отнимали у градовцев хлебные места в учреждениях, а градовцы обижались и отбивались от деревенских охальников. Поэтому три раза в год — на Троицу, в Николин день и на Крещение — между городом и слободами происходили кулачные бои. Слобожане, кормленные густой пищей, всегда побивали градовцев, исчахших на казенных харчах.

Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: всё будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он, город, и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной стройки.

На доме том висит вывеска:

«Градовский уисполком».

На краю базарной площади стоят еще несколько домов казенного вечного образца — там тоже необходимые губернии учреждения.

Есть в Градове жилища и поприличней хат. Крыты они железом, на дворе имеют нужники, а с уличной стороны палисадники. У иных есть и садики, где растут вишня и яблоня. Вишня идет в настойку, а яблоко в мочку.

Живут в таких домах служащие люди и хлебные скупщики.

В летние вечера город наполняется плавающим колокольным звоном и трубным дымом поставленных самоваров.

Народ в городе существовал без спешки и не беспокоился о якобы лучшей жизни. Служил с усердием, держа порядок в губернии, но ярости в труде не знал. Торговали по малости, без риска, но прочно сбивая хлеб насущный.

Героев город не имел, безропотно и единогласно принимая резолюции по мировым вопросам.

А может, и были в Градове герои, только их перевела точная законность и надлежащие мероприятия.

Отсюда пошло то, что сколько ни давали денег этой ветхой, растрепанной бандитами и заросшей лопухами губернии, ничего замечательного не выходило.

В Москве руководители губернии говорили правительству, что хотя нельзя сказать точно, на что истрачены пять миллионов, отпущенные в прошлом году на сельское хозяйство, но толк от этих миллионов должен быть: все-таки деньги истрачены в Градовской губернии, а не в чужом месте и как-нибудь скажутся.

— Может, пройдет десять годов, — говорил председатель Градовского губисполкома, — а у нас рожь начнет расти с оглоблю, а картошка в колесо. Вот тогда и видно будет, куда ушло пять миллионов рублей!

А было дело так. Случился в Градовской губернии голод от засухи. На прокормление крестьян и на особые гидротехнические работы отпустили пять миллионов рублей.

Восемь раз заседал президиум Градовского губисполкома: что делать с этими деньгами? Четыре месяца шло обсуждение серьезного вопроса.

В основу отбора голодающих крестьян от сытых был положен классовый принцип: помощь оказывать только тем крестьянам, у которых нет ни коровы, ни лошади, а наличный скот — не свыше двух овец и двадцати кур, включая петуха; остальным крестьянам, имеющим корову или лошадь, давать хлеб порциями, когда в теле есть научные признаки голода.

Научное определение голода было возложено на ветеринаров и на сельский педагогический персонал. Затем Градовским губисполкомом была детально разработана «Ведомость учета крестьянских хозяйств, на восстановление, укрепление и развитие коих может в некоторой степени повлиять частичный недород некоторых районов губернии».

Сверх натуральной кормежки решено было начать гидротехнические работы. Создана была особая комиссия по набору техников. Но она ни одного техника не приняла, так как оказалось: чтобы построить деревенский колодезь, техник должен знать всего Карла Маркса.

Комиссия решила, что технического персонала на рынке республики нет, и по одному доброму совету приняла, что эти работы надо поручить бывшим солдатам-военнопленным, а также сельским самоучкам, которые даже часы могут чинить, а не только насыпь сделать или яму для воды выкопать. Один член этой приемочной комиссии вслух прочитал книгу, где говорится, как хлоп Микишка сделал аэроплан и летал на нем перед Иваном Грозным, — чем убедил окончательно комиссию в скрытых силах пролетариата и трудового крестьянства. Следовательно, решила комиссия, средства, отпущенные губернии на борьбу с недородом, помогут «выявить, использовать, учесть и в дальнейшем снова использовать внутренние умственные силы пролетариата и беднейших крестьян, тем самым гидротехнические

работы в нашей губернии будут иметь косвенный культурный эффект».

Было построено шестьсот плотин и четыреста колодезцев. Техников совсем не было, а может, было человека два. Не дотянув до осени, плотины были смыты летними легкими дождями, а колодцы почти все стояли сухими.

Кроме того, одна сельскохозяйственная коммуна, под названием «Импорт», начала строить железную дорогу длиною в десять верст. Железная дорога должна соединить «Импорт» с другой коммуной — «Вера, Надежда, Любовь». Денег «Импорт» имел пять тысяч рублей, и даны они были на орошение сада. Но железная дорога осталась недостроенной: коммуна «Вера, Надежда, Любовь» была ликвидирована губернией за свое название, а член правления «Импорта», посланный в Москву купить за двести рублей паровоз, почему-то не вернулся.

Сверх того, на те же деньги десятниками самочинно были построены восемь планеров для почтовой службы и перевозки сена и один вечный двигатель, действующий моченым песком.

2

В Градов Иван Федотович Шмаков ехал с четким заданием — врать в губернские дела и освежить их здравым смыслом. Шмакову было тридцать пять лет, и славился он совестью перед законом и административным инстинктом, за что и был одобрен высоким госорганом и послан на ответственный пост.

Думал Шмаков как раз про то, что было ему известно про Градов. А известно ему было одно, что Градов — оскуделый город и люди живут там настолько бестолково, что даже чернозем травы не родит.

За два часа до Градова Шмаков вышел на попутную станцию и, оглянувшись по сторонам, испуганно и наспех выпил водочки в буфете, зная, что советская власть не любит водки. Особое чувство скуки и беспокойства

охватило Шмакова, когда он шел по мрачным и бесприютным залам вокзала. В третьем классе сидели безработные и ели дешевую мокрую колбасу. Плакали дети, увеличивая чувство тревоги и беспомощной жалости. Уныло гудели маломощные паровозы, готовясь к одолению скучных осенних пространств, полных редкой и убогой жизни.

Проезжие люди жили так, как будто они ехали по чужой планете, а не по отечественной стране; каждый ел укромкой и соседу пищи не давал, но все-таки люди жаллись друг к другу, ища защиты на страшных путях сообщения.

Шмаков вошел в вагон и закурил. Поезд тронулся. Наспех выскочила баба с яблоками, запутавшись в сдаче пассажиру с гривенника.

Шмаков плюнул, раздражаясь от длительности пути, и сел. За окном проскакивали хижины какого-то городка и не спеша помахивала мельница ветхими крыльями, тяжело меля грубое зерно.

Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика:

— А мордвин што?

— А мордвин богатый человек, — говорил старик, — мордвин угостил русского подобру и честь честью. Только русский говорит мордвину: «Я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову».

— А мордвин ему што?

— А мордвин ждет! Прошел год, еще год, а потом сразу два. Русский все не богатеет, а мордвин все ждет — когда его русский к себе в гости позовет. Четыре года томился мордвин, а потом вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Вот приходит в хату...

— К русскому?

— К русскому, то видно по рассказу. Русский схватил шапку с мордвина — то на один гвоздь ее повесит, то на другой, то на третий. «Што ты?» — спрашивает его мордвин. «Места тебе не найду», — говорит русский. «Почет,

значит?» — «Ну, почет, конечно». Сел мордвин за порожний стол и глядит, чего бы ухватить ему из пищи. Глядь, русский кувшин тащит. «Пей», — говорит. Мордвин ухватился, думал — влага какая, а там вода. Попил мордвин. «Будя», — говорит. «Пей, — говорит русский, — не обижай, пожалуйста!» Мордвин, конечно, человек уважительный, — пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает кувшин и потчует гостя. «Не обидь, — говорит, — угощайся, ради бога!» Выпил мордвин три ведра воды и пошел домой. «Хорошо угостил тебя русский?» — спрашивает мордвина жена. «Хорошо, — говорит мордвин, — спасибо, что вода была, а от водки я бы помер — три ведра выпил...»

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старика. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, взяв свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал:

— Религия должна караться по закону!

— Это через почему ж такое по закону-то? — злобно допытывался неизвестный человек, ранее рассказывавший о ценах на пшено в Саратове и Раненбурге.

— А вот почему! — говорил парень, равнодушно и старчески улыбаясь и явно жалея собеседников. — Я расскажу все последовательно! Потому что религия есть злоупотребление природой! Поняли? Дело ведь просто: солнце начинает нагревать навоз, сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Так и вся жизнь на земле произошла — очень просто...

— А я у вас извинения попрошу, товарищ коммунист, — робко выговорил все тот же неизвестный человек, что на пшено цену знал, — ежели ты навоз, допустим, на загнетку положишь, а печку затопишь, чтоб тепло и свет шли, то, по-вашему, вырастет трава из навоза аль нет?

— Ну да, вырастет! — ответил знающий парень. — Все равно — что печка, что солнце...

— И на лежанке можно? — хитрил неизвестный человек.

— Ясно, можно! — подтвердил комсомолец.

— А вы вот что нам скажите, гражданин коммунист, — хрипло обратился человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню, — правда, что Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?

Комсомольский знаток разгорелся и сразу рассказал о Днепрострое все, что известно и неизвестно.

— Сурьезное дело! — дал свое заключение о Днепрострое козловский человек. — Только воду в Днепре не удержать!

— Это почему ж такое? — вступился тут Шмаков.

Козловец сумрачно поглядел на Шмакова: дескать, это еще что за моль тут встряла в разговор?

— А потому, — сказал он, — что вода — дело тяжкое, камень точит и железо скоблит, а советский материал — мягкая вещь!

«Он прав, сволочь! — подумал Шмаков. — У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве покупал!»

Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и недоброкачества жизни. Поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами.

Печальный, молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожном поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд:

— Эй, сволочи!

Иногда встречные пастушонки просили:

— Брось газету! — Газета им требовалась на сигарки.

Комсомолец, раздобрев от своей осведомленности, побросал им всю наличную бумагу, и пастушонки ловили ее, не допуская до земли. Но Шмаков своей газеты не дал — в чужом городе всякий клочок дорог.

— Градов! Кому до Градова? Первая остановка! — сказал проводник и начал выметать сор. — Насорили, идола, как в поле! Штрафовать вас надо, да денег у вас нету! Бабка, прими ноги!

Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть.

«Вот оно, мое поселение», — подумал Шмаков и оглядывал тихий вокзал и скромных людей, спешащих попасть в вагоны.

Несмотря на то что этот пункт был связан рельсами со всем миром — с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, — никто туда не ездил: не было надобности. А если б кто поехал, то запутался бы в маршруте: народ тут жил бестолковый.

3

Вселился Шмаков в дом № 46 по Коркиной улице; дом был невелик, и жила в нем одна старушка, караульщица своего недвижимого имущества. Получала она за мужа пенсию одиннадцать рублей двадцать пять копеек в месяц и комнату сдавала за восемь рублей с ее топкой.

Сел за голый стол Иван Федотыч, поглядел на двор, где травы умирали, и ему сделалось скучно. Посидев, Иван Федотыч лег, а полежавши, встал и пошел еды купить.

Еще не закатилось сентябрьское солнце, а Иван Федотыч вернулся в пустоту своего жилища. Старушка вздыхала на кухне от перемены власти и трещала лучинками к самовару.

Иван Федотыч поел колбасы, а затем сел выработать форму своей подписи на будущих бумагах. «Шмаков», — написал Иван Федотыч. «Нет, не твердо», — подумал он и вновь написал «Шмаков», но уже более бесхитростно и как бы невзначай копируя по простоте начертания подпись Ленина.

Затем долго раздумывал Иван Федотыч — ставить ему перед своей фамилией «Ив» — Иван или не надо. Наконец решил поставить: могут обознаться и спутать с иномродным человеком; хотя фамилия «Шмаков» — достаточно редкостная.

В восемь часов старушка перестала вздыхать и тихо засопела — уснула, стало быть. Потом проснулась и долго бормотала славянские молитвы.

Иван Федотыч задернул занавесочки, понюхал большой цветок на подоконнике и извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано перочинным ножом заглавие рукописного труда:

«ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Открыв рукопись на сорок девятой странице, Иван Федотыч подчитал конец и, разогнавшись мыслью, начал продолжать:

«...Я тайно веду свой труд. Но когда-нибудь он делается мировым юридическим сочинением, а именно: я говорю, чиновник и прочее всякое должностное лицо — это ценнейший агент социалистической истории, это живая шпала под рельсами в социализм.

Служение социалистическому отечеству — это новая религия человека, ощущающего в своем сердце чувство революционного долга.

Воистину в 1917 году в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка!

Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей.

Бюро есть конторка. А конторский стол суть непрременная принадлежность всякого государственного аппарата.

Бюрократия имеет заслуги перед революцией: она склеила расползавшиеся части народа, пронизала их волей к порядку и приучила к однообразному пониманию обычных вещей.

Бюрократ должен быть раздавлен и выжат из Советского государства, как кислота из лимона. Но не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства...»

— Гады! — заорал кто-то у окна. — Испотрошу всяку сволочь, всяку баптистскую ересь...

И вдруг голос смилостивился и зазвучал милосердно:

— Друг, скажи по-матерному, по-церковнославянски! Ага, нельзя!.. Эх ты, гниденыш!

Шаги удалились, и пустынно застучал колотушечник, предупреждая грабеж.

Шмаков сначала насторожился, а потом поник в удручении от многочисленности хамства.

Одолев нравственную тревогу, он продолжал:

«Что нам дают вместо бюрократизма? Нам дают доверие вместо документального порядка, то есть дают хищничество, ахинею и поэзию.

Нет! Нам нужно, чтобы человек стал святым и нравственным, потому что иначе ему деться некуда. Всюду должен быть документ и надлежащий общий порядок.

Бумага лишь символ жизни, но она и тень истины, а не хамская выдумка чиновника.

Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформленная, есть продукт высочайшей цивилизации. Она предусматривает порочную породу людей и фактирует их действия в интересах общества.

Более того, бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии».

Часто бывало, что мысль Ивана Федотыча увлекалась сторонними соображениями во вред пользе. Вот и сейчас, пренебрегая временем, он задумался о сравнительной административной силе преуика и исправника. Затем он подумал о воде земного шара и решил, что лучше спустить все океаны и реки в подземные недра, чтобы была сухая территория. Тогда не будет беспокойства от дождей, а народ можно расселить просторнее. Воду будут

сосать из глубины насосы, облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр.

«Самый худший враг порядка и гармонии, — думал Шмаков, — это природа. Всегда в ней что-нибудь случается...

А что, если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Например, драть растения за недород. Конечно, не просто пороть, а как-нибудь похитрее — химически, так сказать!

Не согласятся, — вздохнул Шмаков, — беззаконники везде сидят!»

Потом он очнулся и продолжал работать:

«И как идеал зиждется перед моим истомленным взором то общество, где деловая официальная бумага проела и проконтролировала людей настолько, что, будучи по существу порочными, они стали нравственными. Ибо бумага и отношение следовали за поступками людей неотступно, грозили им законными карами, и нравственность сделалась их привычкой.

Канцелярия является главной силой, преобразующей мир порочных стихий в мир закона и благородства.

Подумать надо над этим — и крепко подумать. Я кончаю сегодняшнюю очередную запись, чтобы крепко подумать о бюрократии».

Тут Иван Федотыч встал и действительно задумался.

Так думал он о бюрократии долго, пока его не перебил собачий лай на ночной улице, и тогда он уснул, зря не потушив лампы.

На другой день Шмаков явился на службу — в губернское земельное управление, куда он назначен был заведовать подотделом.

Явившись, он молча сел и начал листовать разумные бумаги. Сослуживцы дико смотрели на новое молчаливое начальство и, вздыхая, не спеша чертили какие-то длинные скрижали.

Иван Федотыч постепенно входил в самое средоточие дел, но сразу усмотрел ущерб стройности и делопроизводственной логике.

Вечером, лежа на кровати, он раздумывал о своей новой службе. Круг обязанностей каждого сотрудника очерчен недостаточно четко, служащие суетятся с малой пользой, в бумагах запор смысла и скользкая бесплановая логика, в толчее и подотдельской тесноте сотрудники утратили самую цель своих трудов и исторический смысл своей службы.

Поев вчерашней колбасы, Шамаков сел писать доклад начальнику земуправления.

«О соподчинении служащих внутри вверенного мне подотдела в целях рационализации руководимой мною области сельскохозяйственных мероприятий».

Трактат свой Иван Федотыч кончил поздней ночью — за полночь.

Утром хозяйка сжалилась над одиноким человеком и дала Ивану Федотычу бесплатно чай. Ночью она слышала, как у спящего Шамакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе.

Иван Федотыч принял чай без всякого одобрения и без интереса прослушал хозяйкин рассказ об их глухой стороне.

Оказалось, что в ближних к Градову деревнях — не говоря про дальние, что в лесистой стороне, — до сей поры весной в новолунье и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окуривали от болезней скот и насвистывали ветер.

«Холуйство! — подумал Иван Федотыч, послушав старуху. — Только живая сила государства — служилый, должный народ способен упорядочить это мракобесие».

Идя на службу, Иван Федотыч чувствовал легкость желудка от горячего чая старухи и покой мысли от убежденности в благотворном государственном начале.

На службе Ивану Федотычу дали дело о наделении землей потомков некоей Алены, которая была предводи-

тельницей мятежных отрядов Поценского края в XVIII столетии и которую сожгли за чародейные дела в срубе в г. Кадоме.

«Ездили они, отцы наши, воровские казаки, — читал в деле Шмаков, — по уездам, рубили помещиков и вотчинников, за которыми были крестьяне, а черных людей, крестьян и боярских людей и иных служилых людей никого не рубили и не грабили».

Дело о землеустройстве потомков Алены тянулось уже пятый год. Теперь пришла новая бумага от них с резолюцией начальника учреждения:

«Тов. Шмакову. Реши это дело, пожалуйста, окончательно. Пятый год идет волокита о семи десятинах.ложи мне срочно по сему».

Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить трояко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предрешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций. В конце записки он вставил собственное изречение, что волокита есть умственное коллективное вырабатывание социальной истины, а не порок. Управившись с Аленой, Шмаков углубился в поселок Гора-Горушка, который жил на песках, а на лучшие земли не выходил. Оказалось, что поселок жил тихим хищничеством с железной дороги, которая проходила в двух верстах. Поселку давали и деньги и агрономов, а он сидел на песке и жил неведомо чем.

Шмаков написал на этом деле резолюцию:

«Гору-Горушку считать вольным поселением, по примеру немецкого города Гамбурга, а жителей — транспортными хищниками; земли же надлежит у них изъять и передать в трудовое пользование».

Далее попало заявление жителей хутора Девьи Дубравы о необходимости присылки им аэроплана для подгонки туч в сухое летнее время. К заявлению прилагалась вырезка из газеты «Градовские известия», которая обнадежила девьедубравцев.